

идеализма и героизма *, кто клонится к закату духовной жизни, в ком уходящая жизнь произвела нравственное опустошение, в ком «потускнели все впечатления бытия, опошлись и поблекли чувства», в ком «духовная старость оледенила все пылкие стремления, все благородные замыслы»... ** Все же кто сохранил душу живую, в ком не замерло вечно-тревожное, кто любит прекрасное, кому претит вандализм разрушения драгоценных приобретений культуры, кто истинный друг родной литературы, те никогда не забудут Белинского, его болезненно-радостного убеждения: «*Литературе российской — моя жизнь и моя кровь*»...



Е. А. ЛЯЦКИЙ

Господин Айхенвальд около Белинского

«Белинский, это — легенда. То представление, которое получаешь о нем из *чужих прославляющих уст*, в значительной степени рушится, когда подходишь к его книге непосредственно...» ***.

Так начинает Айхенвальд свою знаменательную для этого критика статью о Белинском. И нужно отдать ему справедливость: он с большой последовательностью подбирает те свои субъективные *впечатления* от Белинского, которые суммировали его общее *представление*.

«Белинскому не дорого стоили слова. Никто из наших писателей не сказал так много праздных речей, как именно он...»

«Белинский ненадежен. У него — шаткий ум и перебои колеблющегося вкуса...»

«Учитель убеждений компрометировал убеждения — тем, что хронически и без явной трагедии от них отступался».

«Рассудок несамостоятельный... человек без духовной собственности... он чужд той непосредственной цельности, того современного

* Ю. И. Айхенвальд, «Силуэты», вып. III, изд. 2, стр. 157.

** *ibidem*, вып. I, стр. 224 (первое издание).

*** Ю. Айхенвальд. Силуэты русских писателей. Вып. III. М. 1913.

миросозерцания, того инстинкта правды, которые, уже сами по себе предупреждая сознательное построение идеалов, оберегают человека от чрезмерно грубых заблуждений и от таких взглядов, какие граничат с нравственной близорукостью...»

Из таких выражений и определений, ярко характеризующих «стиль» статьи г. Айхенвальда, складывается у читателя отчетливое представление о... г. Айхенвальде, но не о Белинском. Белинского, живого, подлинного, взволнованного и вечно спешащего, страдающего и любящего, сливающегося с миром и томящегося исканием хотя бы одной чуткой, близко приникающей человеческой души, — нет в изображении г. Айхенвальда. Вместо Белинского у него — безжизненный манекен, расписанный сусальным золотом, испещренный черными мазками. Даже не копия, а какой-то лубок с фантастического оригинала. И потому за *настоящего* Белинского не обидно. И не хочется спорить с г. Айхенвальдом, не хочется указывать ему, что и в его *частных* определениях критических особенностей Белинского он много недооценил, иное не понял, об ином судил непостижимо легко. И невольно хочется определить статью г. Айхенвальда его собственными словами: «неровный маятник его *легкомысленных мыслей* описывал чудовищные круги». Круги эти описывал не Белинский, а г. Айхенвальд.

Это у него «неровный маятник» мыслей, — неровный, потому что в *своей* сфере, в характеристиках писателей, сродных ему по духу и близких по времени, г. Айхенвальд — ценитель вдумчивый, чуткий, хотя подчас изыскано-чопорный и высокомерный. Но здесь он слишком положился на свой «импрессионизм» и слишком пренебрег «историзмом» как методом исследования. Бывают случаи, когда подмена этого метода «импрессионизмом» приводит или к парадоксальному извращению фактических данных, или к непростительному легкомыслию. И настоящий случай — один из самых ярких.

Г. Айхенвальд обошелся с Белинским как будто он его видел только вчера и, после долгой беседы о литературе, остался крайне недоволен его критическими суждениями и вкусами. Белинский решительно не выдержал испытания со стороны строгого г. Айхенвальда. «Он Белинский начал хорошо, а кончил дурно. Он начал глубокомысленно — отзвуками Шеллинга, Фихте, Гегеля...»

«...Он понимал тогда всю ценность умозрительной философии и всю недостаточность эмпиризма; он принимал тогда автономную природу искусств, его самодовлеющее и бескорыстное значение; он воодушевленно провозглашал истину, что “поэзия не имеет цели вне себя”».

Но в конце 1840 года, констатирует г. Айхенвальд, в Белинском совершилась перемена. «Белинский направил решительные шаги в сторону вульгарного и наивного утилитаризма».

Хотя та область, куда Белинский направил «решительные шаги», обозначена г. Айхенвальдом аляповато и неточно, но мысль его ясна. И если бы г. Айхенвальд остановился на развитии только этой мысли, спорить с ним было бы напрасно. Спор «эмпиризма» с тем особым видом «идеализма», выразителем которого является в данном случае г. Айхенвальд, давно уже обнаружил свою явную бесплодность: средняя линия между двумя этими направлениями не будет найдена никогда. Но г. Айхенвальд посвятил большую часть своей статьи тем критическим взглядам и тем сторонам духовного облика Белинского, которые сохраняют свое автономное значение, которые, независимо от того, каких философских взглядов держался Белинский в тот или иной период своей жизни, до сих пор не давали повода заподозрить его в недостатке критической проницательности, в умственном падении, в отсутствии оригинальности и особенно — в общественном консерватизме.

«Белинский вообще недооценил Пушкина...»

«Белинский в оценке этих имен (Пушкина, Грибоедова, Гоголя), в их начертании на скрижалях русской литературы, выказал, наряду с верными суждениями, столько уклонений, колебаний, ошибок, столько поражающего непонимания, что на преимущественное сплетение своего имени с их именами он претендовать не может».

«Это он расчистил дорогу публицистической критике, губительному течению тенденциозности...»

Странно и как-то неловко повторять за г. Айхенвальдом подобные суждения. Неловко не из пиетета к Белинскому, но по слишком уж явному отсутствию в них хотя бы элементарного объективизма. Ну, неужели же доказывать критику-импрессионисту наших дней, что Белинский был одним из важнейших строителей того храма литературы, в котором г. Айхенвальду теперь так светло и просторно и так удобно отыскивать на колоннах и сводах отдельные щербинки и уклоны, следы подневольно-торопливой, но всегда художественно-завершенной работы? И следует ли вообще доказывать это тем, кто сознательно отстраняет от себя мысль о лице как деятеле известной эпохи, кто разрушает историческую перспективу, кто, быть может, несколько запоздало, берется за «книги» интересующего писателя с предубеждением, с раздражением против образа, созданного «чужими прославляющими устами?»

Да, Белинский был не всегда последователен в своих суждениях. Но знает ли г. Айхенвальд, чем в каждом отдельном случае объясняется эта непоследовательность?

Да, Белинский приобретал свои знания, как и все, что он писал и делал, «волнуясь и спеша», и брал философию не из первых рук. Но назовет ли кого-нибудь г. Айхенвальд, кто в эпоху Белинского мог лучше, ярче, сильнее его дать толчок обывательской косности и указать развивающейся литературной мысли пути от замкнувшейся, после смерти Пушкина, в круг эпикурейского эстетизма «пушкинской школы» — к широким и светлым перспективам реалистического (в старом понимании этого слова) «гоголевского» направления.

Да, Белинский совершил огромную эволюцию от Фихте и Шеллинга, через Гегеля, к Фейербаху. В литературе он начал тоже с чистого эстетизма, с выспренного представления о поэзии, как даре богов, о важности служения искусству для искусства. Но по своей натуре это был чистый демократ, для которого презрение к грубой действительности, требовавшееся эстетическим кодексом, было невозможно, неосуществимо, противоестественно.

Как бы ни оценивали гг. аристократы искусства это, несомненно, им не нравящееся свойство Белинского, они должны понять, что демократическая стихия его души не могла не сказаться в его творчестве, потому что она была присуща всему складу его сознания, всему направлению его воли. В ущерб или не в ущерб эстетической углубленности Белинского, его устами сама жизнь одержала победу над «чистым» искусством, но привела она не к «разрушению эстетики» (оно имеет другие истоки), а к величайшему ее расцвету в литературно-общественной деятельности Тургенева, Некрасова, Льва Толстого.

Какой мучительный переворот произошел в душе Белинского, когда он осознал себя и понял, что служение действительности не только не колеблет высокого призвания литературы, но дает ей силу неотразимого убеждения и власти, — в этом г. Айхенвальд не судья. Будучи чужд Белинскому по темпераменту, по основным приемам искания жизненной правды в художественном образе, г. Айхенвальд меряет его на свой рассудочный, сухой и отвлеченный аршин, укладывает его на Прокрустово ложе своих, по существу ограниченных требований, как бы нарочито сжимаемой мысли, бредущей в книге чуждого ей писателя только по истертым и неровным буквам, но духа по ним не воскрешающей...

Мыслью Белинского можно только *изучать*, но постигать его нужно *чувством*. Мыслить можно, расчлняя общие признаки на частные, взвешивая, оценивая в меру критического чутья и остроты анализа. Но *постичь* Белинского таким расчленением нельзя. Его трепещущую мысль, его живое слово, пытливый творческий дух не уложит ни в какие коробочки, не подогнать под этикетки самой хитрой лабораторной системы. В нем все слитно, все едино, все согрето

и освещено горением духа, мятущегося в поисках красоты, наиболее близкой, наиболее родной той высшей правде жизни, на знамени которой написано общее благо, любовь к людям как правило житейской морали, как идеальный призыв к вечным огням свободы, равенства и братства. И это так естественно, что все, имевшие счастье приобщиться к инстинкту этой правды в страстных речах живого Белинского, отзывались на них горячею любовью, пламенным одушевлением всего, что было лучшего в их натуре. А среди таких людей были лица, во всяком случае не уступавшие г. Айхенвальду в критической пронизательности и чуткости. Припомните только отзывы о Белинском Некрасова, Тургенева, Герцена, даже скупого на сердечные излияния автора «Обыкновенной истории». Нити любовного, признательного воспоминания о Белинском оборвались с их уходом из мира, но остались их заветные слова, ярко свидетельствующие, что если бы Белинский и не был тем, чем он остался для нас, если бы он не написал ни слова и только прошел бы по стогнам мира *светящимся* человеком, то и тогда никто из людей, знавших цену великому и прекрасному, не сказал бы, что жизнь Белинского протекла бесплодно.

Но Белинского не приемлют и не могут приять все те, кто замкнулись либо в переживаниях эстетической самоуглубленности, либо в созерцательном ожидании небесных откровений. И г. Айхенвальд хорошо сделал, что подвел читателя так близко к краю пропасти, разделяющей Белинского и всех его неприемлющих.

До статьи о Белинском еще могло казаться, что г. Айхенвальд ищет своей дороги, своей срединной тропы меж крайностей двух направлений. Но здесь, на его встрече с Белинским, сказалось с яркой очевидностью, что здесь он — далеко не один, даже не индивидуален, что в его статье выразилось не только его личное, убежденное, надуманное, но целое мирозерцание, отличающее определенную группу лиц, определенный темперамента и склад понятий.

Таким же точно образом и Белинский приобретает в его освещении все признаки родового понятия, в котором олицетворялось все, отрицаемое г. Айхенвальдом и его настоящими и будущими единомышленниками: искания общественной почвы для истолкования художественных произведений и публицистический элемент его статей последнего периода как прогноз назревающих задач во всех сферах осознания действительной жизни — умственной, художественной, политической... Для любителей аристократизма в искусстве, конечно, не может быть приемлем Белинский, ненавидящий все исключительное, кроме исключительности таланта, все кастовое, все отвлекающее душу от действия, все ведущее к сентимен-

тальной развинченности и дряблости. И хотя я далеко не связываю поклонения г. Айхенвальда идеалу чистого искусства с равнодушием к той общественной атмосфере, среди которой этот культ является как бы синонимом удаления от шума житейской борьбы на горные вершины созерцания и воздыхания, тем не менее я беру на себя смелость утверждать, что между отрицанием триединой формулы у г. Айхенвальда и неприемлемостью для него «публицистических» стремлений Белинского есть нечто необъяснимое, недосказанное, быть может, даже, — да простит мне суровый обличитель «неистового Виссариона», — нечто недодуманное. Косвенное тому доказательство я нахожу в самом тоне, в самом стиле статьи г. Айхенвальда. Обычно сдержанный, он не может скрыть своего негодования и досады. С одной стороны, понятно: Белинский, взлетевший было на такие высоты романтического эстетизма, совершил независимый, с точки зрения г. Айхенвальда, грех — спустился на землю и ушел в «толпу», вмешался в грубую действительность. Но с другой стороны: если вы допустите, что Белинский был по натуре демократ и *общественник*, то гнев ваш напрасен: он покинул чуждую ему область и ушел, чтобы слиться с родною стихией. Вы можете не приять его таковым, каким он оказался в действительности, но негодовать и сыпать по его адресу обидные и несправедливые обвинения за то, что он не пришелся вам по вкусу, — дело и недостойное, и праздное.

Постараемся быть прежде всего справедливыми и не будем забывать, что толпа, не только обывательская, но и литературная, всегда рукоплещет, когда на ее глазах принижается великое и славное имя. Может быть, теперь, как никогда, слово уважающего себя литератора должно быть ответственно, обдуманно и веско. Г. Айхенвальд, в своем негодовании, предъявил к Белинскому обвинение в общественном консерватизме, даже реакционности. Придравшись к одной фразе, сказанной Белинским по особенному случаю, при обстоятельствах, менее всего дававших право на буквальное понимание этой фразы, г. Айхенвальд допустил утверждение, что Белинский — «сочувственно поддерживал русский шовинизм и официальные законы». Уже в печати было указано г. Айхенвальду, в каком смысле следует понимать инкриминируемые слова, и я на этом останавливаться не стану. Замечу только, что г. Айхенвальд, мне кажется, просто не сумел расшифровать того скрытого смысла статьи Белинского, который, даже пройдя тиски цензурного мяла, означал: старые основы общественной жизни заржавели; мы настоятельно ждем реформы, неизбежность и близость которой очевидна; ее осуществление делает *«царствование»* (т.е. эпоху) Николая I *«в отношении к внутреннему развитию России»* — «самым замечательным после царствования

Петра Великого». Я хочу думать — г. Айхенвальд в этом не разобрался, как не разобрался он и в других «эзоповских» особенностях стиля Белинского, и я решительно отказываюсь верить, чтобы здесь могла быть допущена г. Айхенвальдом заведомая подмена одного понимания другим.

Апологетом «триединой формулы» Белинский не был никогда. Примирительное отношение к действительности в начале его литературной деятельности носило умозрительный характер, а каким апологетом он мог являться в конце — об этом хорошо было известно в свое время Дубельту¹. Если бы т. Айхенвальд не пренебрег и в этом отношении историей, он, конечно, не допустил бы извращения политической мысли Белинского и постарался бы взять эту мысль в целом, а не из случайных фраз и эпитетов.

Но каковы бы ни были истинные побуждения г. Айхенвальда, его органическая ненависть к Белинскому оказалась так сильна, что он утратил даже присущий ему обычно литературный такт. Но все это напрасно. Белинской стоит слишком высоко и слишком далеко от всех, его не приемлющих. Им не дотянуться до него, чтобы низринуть его с пьедестала, на который он поставлен общественным признанием. Памятник ему созидался людьми, для которых слова его — не риторика, и обаяние его личности — не легенда.

Легенда?! — Теперь раскроют эту легенду подлинные письма Белинского, в их чистом виде, без комментариев, без разъяснений, без участия «прославляющих» оценок. Вчитайтесь в них просто, как в человеческий документ, и скажите: много ли вы найдете во всей нашей истории откровений, которые, подобно письмам Белинского, вскрывали бы с таким поразительным бесстрашием все бесконечное разнообразие душевных движений, мучительно сталкивающихся в борьбе, стремительно пылких и колеблющихся, человечески-низменных и непостижимо-высоких? Откровений, где стремление к совершенствованию сделало бы такой громадный переход от полусознательных блужданий души, буруеваемой страстями и жадной счастья, до полного самоотречения, до сурового аскетизма, в котором все отдано идее общего блага и ничто не оставлено в жертву себялюбивым и низким побуждениям? Кто с таким упорством стремился разрушить роковую грань между «я» и «не я» и с такой остротой анализа доискивался правды, объективной, очищенной от всего личного в самых глубоких, самых интимных отношениях к людям и к миру?

«Кто мне скажет правду обо мне, если не друг, а слышать о себе правду от другого — необходимо», — писал Белинский Боткину 22 ноября 1839 года. Он никогда не хотел быть обличителем из-за

ширмы, монахом, выглядывающим в окно исповедальной будки. Он требовал от других помощи себе в познании его собственной души. «Друзья мои — будем бояться крайностей, как зла: оставим каждого жить, как он хочет, не будем читать друг другу поучений, посылать буллы, требовать отчета, но не побоимся же и замечать друг другу то, чего каждый в себе не хочет и не может замечать, только будем это делать с уважением к личности, деликатно, с любовью...»

«Во всяком человеке — два рода недостатков — природные и налипные; нападать на первые и бесполезно, и бесчеловечно, и грешно, нападать на наросты — и можно, и должно, потому что от них можно и должно освобождаться...»

О, мы знаем, выходящие ныне в свет письма Белинского дадут повод любителям копаться в «наростах», забрасывать имя Белинского разоблачениями подонков его человеческого естества. Но затемнить чистый и высокий образ им не удастся, ибо благородное и высокое всегда сохранит свою могучую власть над людьми. И мы охотно отдаем гг. разоблачителям все «наросты» души Белинского, а литературным критикам, что пойдут по следам г. Айхенвадьда, все противоречия критических суждений Белинского, все заблуждения, даже ошибки. Пусть наступит время, когда вся критическая деятельность Белинского останется лишь как пройденный этап, в исторической памяти поколений, — его письма переживут его журнальные статьи.

Он жил, как и мы, в эпоху глухого безвременья и общественного угнетения, когда слабым и малодушным так хотелось бы убежать куда-нибудь от торжествующей наглости, воинствующего невежества, всего удушливого кошмара современности, чтобы открыть душу впечатлениям возвышающим и чистым. Но он ушел от этих соблазнов и осудил в себе чары, державшие в плену его свободную мысль. То, что представлялось ему раньше беспредметным, общим, поэтически-неведомым, конкретизировалось для него, прояснилось, и, среди борющихся течений, он нашел путь, по которому, недавний пророк горных вершин, он направил честно и бодро свою ладью писателя-гражданина. «Жизнь одно общее, — писал Белинский в 40-м году, — а мы Китайские тени, волны океана — океан один, а волн много было, много есть и много будет, и кому дело до той или другой?..» Но мысль недаром «жгла» душу его, она привела его к убеждению, что «океан» — это человечество, во имя счастья которого стоит трудиться, бороться и жить. Сколь знаменательно было для него это убеждение, и далось ли оно ему без труда, без громадной борьбы внешней и внутренней — об этом пусть судят те, для которых написанное им — не одна лишь раскрытая книга с холодными

черными знаками по белому полю, но раскрытое сердце, горячее, отзывчивое и любящее.

Кто этого не почувствует и не оценит, тот никогда не поймет, почему имя Белинского для людей, с надеждой ожидающих грядущего дня, стало заветным символом, чем-то бесконечно дорогим и близким. Врагам его никогда не удастся развенчать его духовный облик, никогда не удастся доказать, что трагедия его великой души — не трагедия, а дело им совершенное — поблекший цветок, и самый образ — так, как он рисуется нам, — фантазия, легенда...



А. Б. ДЕРМАН

Айхенвальд о Белинском

Ю. Айхенвальд. Силуэты русских писателей.

Выпуск III, изд. 2-е, значительно дополненное, с 20 портретами.

Изд. т-ва «Мир». М., 1913

Настоящее издание III выпуска «Силуэтов» г. Айхенвальда дает в переработанном виде те характеристики, какие входили в первое издание и, кроме того, заключает в себе семь новых характеристик: Белинского, Герцена, Карамзина, Жуковского, Бальмонта, Минского и Виктора Гофмана. Наиболее удачной из них является очерк, посвященный Бальмонту, но наибольший интерес со стороны читателей, конечно, вызовет «силуэт» Белинского.

Печальный интерес... Г. Айхенвальд «развенчивает» Белинского. Это, разумеется, его право, — право писателя и даже обязанность: обязанность не утаивать всей правды. Но вопрос в том, как г. Айхенвальд использовал свое право, как отнесся к своей обязанности, — трудной и сложной: развенчать творца русской критики и одного из идейных отцов русской интеллигенции?

Первое впечатление — отсутствие скромности. «Белинский, это — легенда, — начинает свой этюд автор. — То представление, какое получаешь о нем из чужих прославляющих уст, в значительной степени рушится, когдаходишь к его книгам непосредственно». А так